

# Весенний ветер

## Эмтэгей

75-летию уральского поэта  
Бориса Ручьева

15 июня Борису Александровичу Ручьеву исполняется 92 года. К сожалению, он не сможет принять поздравления от товарищей по перу, от многочисленных почитателей его поэзии. Борис Ручьев не стало в 1973 году. Отметив 60-летие, поэт умер осенью 1973 года. Спустя два года после смерти Бориса Александровича открыт мемориальный музей в квартире, где поэт прожил последние 13 лет. В июне музей будет отмечать 30-летие. И до сей поры музей-квартира Бориса Ручьева – единственный литературный музей на Южном Урале.

Предлагаем читателям «Магнитогорского металла» повесть (в сокращении) Николая Худокекова. Рукопись повести передали в музей члены литературной студии «Зеленая лампа» из Белорецка. На титульном листе рукописи написано: «75-летию уральского поэта Бориса Ручьева посвящается». Долгие годы повесть хранилась у вдовы журналиста поэтессы Нины Зиминой. В основу повести легли воспоминания Бориса Ручьева, переданные автору во время личных бесед».

Наталья ТРОИЦКАЯ,  
старший научный сотрудник музея-квартиры Б. Ручьева.



**ТАЙГА И САМОЛЕТ...** Из тайги его не разглядишь в вышине. И все-таки самолет и тайга, незримо друг для друга, живут вместе...

Бортпроводница говорит механическим голосом:

– Не принимают нас, погода плохая, пристегнитесь к креслам.

Один из сидящих, молодой, тихонько толкает под руку соседа:

Слышали, Борис Александрович? Опоздалем на поэтический семинар.

– Да ну, в самом деле? – отзывается тот из полусна и поворачивается к бортпроводнице. – Что там такое?

– Эмтэгей задул, – разъясняет она. – Тут, на Дальнем Востоке, бывает, может, слышали?

Сейчас весна 1965 года... Пассажир задумчиво глядит перед собой. Это человек лет пятидесяти, с болезненно-одутловатым лицом, но с глазами – голубыми, светлыми, задиристыми. Такие же глаза, как у того молодого, тридцатилетнего, каким он вспомнил себя теперь в этом полете над тайгой.

...Повальный огонь, дым на десятки километров вокруг по этой самой тайге... Молодой парень в ватнике среди таких же, как он, одинаково одетых, окруженных огнем, что-то крича, лопатой яростно бросает снег в пламя. Выхода нет: водоворот огненной бури вместе с тайгой затянул уже и людей... Парень остался жить. Память крутит колесо прошлого.

Огненный вихрь сменяется снежным бурным. Среди стихии совсем маленькой и беззащитной выглядит избушка в снегу. Ее не разглядишь, пока не окажешься рядом, потому что в окнах – ни огонька.

Память заводит внутрь этого человеческого жилища, и видно, что оно не такое уж маленькое, а обставлено даже с претензией на роскошь.

Молоденькая женщина с беспокоеством глядит в оконце. Тяжело вваливается в избушку человек, одетый по-охотничьи. На спине у него другой, тот в ватной фуфайке, таких же брюках, больших ботинках с обмотками и завязанной ушанке «свиньячьего меха». А первый – бородач, выглядит давнишним, коренным обитателем тайги... Сейчас Борис Александрович вдруг вспомнил, что так и не узнал имя этого, спасшего его человека, называл его Стариком, и тому нравилось.

Женщина бросается навстречу:

– Боже ж мой, еще немножко, я бы с ума

сошла. Понять ты не можешь, как я ж совсем одна, ежели что...

Зажигает ему светильник, останавливается перед человеком, которого Старик спустил на шуры.

– Я, наверное, все-таки с ума сойду. Что это? – Не видишь, гость к нам. Отогреть его надо, заколел.

– Ты что... – в голосе у женщины дрожь. – Отогреть, говорю, надоть, не зря ж я его...

Чтобы отошел, да не на тот свет. А мне хвоянки налей. – Старик грузно влинулся в кресло. – Ну, задуло, опять сугробы, и он в сугробе. А казалось, вот она, весна. Май ведь, чать. С гор потянуло. Эмтэгей, значит, пробуждается. Дух такой горный, Эмтэгей, я тебе сказывал. В горах спит, однажды за десять лет, аккурат в весну, пробуждается. Ну, ты тоже застыла, стоишь? От людей вовсе доотвыкла? Хвоянки, прошу, налей. Говорят, Эмтэгей пробуждается – к перемене жизни.

Женщина смотрит на него в упор, говорит срывающимся голосом:

– Ты жизнь решил переменить? – С кой поры я тебе отчет даю? – Старик сдвинул брови.

– Да на что он тебе? Что я с ним делать буду? – Что хочешь. Хоть своим теплом отогревай, сама с ним в постель увались, только чтобы жил. А то и ты жить не будешь. Совесть не даст...

Она подошла к «гостю», тот, заставив, приподнялся. Жалость к попавшему в беду человеку взяла у нее верх над тревожным недоумением.

– Кто ты? – спросила она, видя, что «гость» открыл глаза.

– Борис, – шевелит губами. – А тебя как?..

– Алена я.

– Аленушка... Ой, стоят леса, сыр-дремучие...

– Что ты говоришь?

– Как медведь пойдет – елка сломится... А пойдет лиса – земляничница...

– Чего он там зашептался? – Старик встал, подошел. – Жив, стало быть, парень? Чего глядишь, удивляешься, куда попал? Здесь еще не рай. А немного – и проснулся бы в раю. Да, видать, снегом тебя засыпало-укрыло, и не замерз. Я сам так однажды... Не ждал, небось, Эмтэгея, когда в тайгу деру давал? А откуда бежал? Здесь и лагерей близко нет и не было. Не то с Малой Чухли? Встать можешь?

Старик, не дожидаясь ответа, разминает пле-

чи, неторопливо снимает верхнюю одежду. Борис – ему лет под тридцать, худой, заросший – с трудом встает, но тут же сваливается. Старик успевает поддержать его, вталкивает в кресло, поворачивается к Алене:

– Нет, он не заколел, от голода, значит, силы потерял. Неси хлеба с салом, заварки горячей. Да повертывайся, ну!

– Слушай, Старик... Где я?

– Ох-хо-хо, – отвечает Старик, – сразу и «где». А куда собирался?

– На ... станцию.

– Ловок. Думал к поезду прицепиться и укатить? Ну, здесь проводники – народ дошлый. В груди толк – и под колеса, чего с вашим братом церемониться? Однако ж ты громадный круг дал. До станции отсюда знаешь, сколь добираться? С Малой Чухли?

– Какая Чухля? С Полюса я.

– Это ты другому трепись, не мне.

– С Полюса я, – повторяет Борис. – Поселок так называется. Я там в больнице фельдшером.

– Ты это голодный от своего Полюса пятьдесят верст протопал?

– Кило хлеба на дорогу собрали... – он теперь сам начинает возиться руками в своей фуфайке.

– Ты хлеб, что ли, ищешь? Никакого хлеба у тебя не было. Потерпи, Алена сейчас принесет.

– Не... Бумажка тут была, командировочная.

– Какая?

– Командировочная... На станцию.

– Лежало в пришитом кармане что-то, я cigarку скрутил.

– Как же... – оторопело озирается Борис.

– А чего, на станции без твоей командировочной билет в Москву не продадут? Ну, все равно, теперь когда еще на станции будешь. Давно ты здесь?

– С тридцать седьмого. На руднике работал, на лесоповале, пожар был, горел. В больнице отлежался. Теперь сюда, на Полюс, перевели фельдшером.

– Да знаю я Полюс, там бывшие ээки живут в ссылке. А на станцию чего тебя понесло? Коли сбежал, там делать не хрена, аккурат сцапают. Или треплешься про станцию? Мне – только правду баять.

– Старик, а ты, может быть... – Борис внимательно в него всматривается, – может быть, слышал: верно, что война кончилась?

– Какая еще война?

– С немцами, с Гитлером.

– Хрен ее знает. А на что тебе война?

– Слух у нас был, война кончилась, Гитлера убили, победу праздновали. А у нас на Полюсе ни радио, ни газет. Ближе всего радио – на станции. Вот, послали меня.

– За пятьдесят верст, пехом?

– Так победа же...

– Тебе-то она здесь на кой, та победа? – останавливается, видя, что Борис, полулежа в удобном кресле, снова впал в забытие.

– Да ты пойми, Старик, – как можно мягче убеждает Борис, – у каждого свое, не могу я здесь оставаться.

– А что делать собираешься?

– Я же сказал. На станции все узнаю и обратно к своим.

– В неволе?

– Так не навсегда неволя. Временно я здесь, и не я один...

– Пятьдесят верст обратно, чтобы в ссылку своей охотой, – качает головой Старик. – Что-то ты не то, парень, говоришь, не туда стремишься. Ну, да я гостя силком не держу, ступай, коли желалась...

– Сели, – констатирует сосед, когда самолет, стукнувшись полной массой, стремительно покатился по дорожке. Во всем салоне разрядилось подсознательное напряжение последних секунд перед землей.

– Долго тут сидеть? – раздаются голоса.

– Пока ваш Эмтэгей не продует.

– Говорят, Эмтэгей – к перемене жизни.

– Вот и переменялась, что тебе еще? Летели неизвестно где, а теперь сидим.

– Здесь вам привычно, Борис Александрович? Ваши ссыльные края?

Другой тихо взрывается:

– Честное слово, язык тебя до чего-нибудь доведет. Человеку тяжело вспоминать, а ты...

Борис Александрович кашлянул. Теперь он хозяин, а не просто попутчик, так уже и приходится себя вести.

– Чего там, – проговорил он дружелюбно, – забыть-то все равно не забудешь. Вон в той стороне, и не очень далеко отсюда, наш Полюс. Говорят, тут теперь хорошую дорогу построили, так на машине часов за пять можно добраться.

– Там вы и написали «Полюс»?

– Нет, не там.

– Борис Александрович, – почувствовал перемену в его настроении, стал смелее и другой, – а почему все-таки вас арестовали в тридцать седьмом?

– Ну, почему – нам об этом не докладывали, наоборот, мы им сами должны были выложить, в чем виноваты. Я и сейчас только предположить могу, что к чему. В январе тридцать седьмого я ездил, собирал материалы про Рындина, Кузьму Васильевича, очерк хотел написать. Это наш старый большевик, долго на Урале работал. В поездке я написал стихотворение «По земле бредет зверь» – антифашистское. Приезжаю в Свердловск, захожу к редактору «Уральского рабочего», показываю стихотворение, а он: «Что у тебя все Тельман, Тельман, про Сталина ничего нету...»

– Позвольте, – вмешивается собеседник, – у вас там есть: «Люди, что сидят над картой мира в красном каменном Кремле».

– Этого ему недостаточно показалось. В общем, не принял. Потом все-таки напечатали, не в «Уральском рабочем», а в «Тагильском», я сам-то уже забыл. Мне на днях один друг вырезку прислал... Ну вот. А потом Рындина арестовали, и редактор, тот, свердловский, наверное, вспомнил, как я к нему заходил и планами делился, что про Рындина материал собираю... Этого показалось достаточно.

– А жизнь там была одна, – говорит он своим дорожным товарищам. – Там ведь никаких классовых врагов уже не было. Каждый что-то искал: вину, свою или чужую, ошибку, тоже свою или чужую, просто глупость. И мы, и они, те, что «настоящие», они еще несчастнее. Нас хоть вера согрешала, а у них одна озлобленность.

– Но тогда вы так не думали? – спрашивает собеседник. – Людей долго будем делить на своих и врагов? И за полярной чертой даже?

– Тогда делил, – признается Борис Александрович. – Ненавидел их, бывших воров, бандюг. Разная у нас опора была, которая в жизни удерживала. Тогда и «Полюс» я сочинил. В голове его держал, наизусть помнил. Узнали бы эти урки, разорвали бы меня на части. А теперь к бывшей злобе возвращаться не хочется. Вот я вам и ответил, почему из «Полюса» ничего не читаю.

...А снег заносит того Бориса, стоящего уже на широких охотничьих лыжах, перед жильем, так странно приютившим его. Алена – в цветной шали и очень старом полушубке. В молчании они как будто продолжают свой словесный поединок:

– Против судьбы не пойдешь.

– Пойдешь, если ты человек.

– Ты был с ними и все равно здесь оказался.

– Я вернусь туда.

– Лучшее жить совсем без людей.

– Я ни одной минуты не жил без людей. Без своего города...

Для Бориса все захлестывает сейчас радость возвращения к жизни и свободе – пусть призрачной.

– Что ж, прощай, Алена, – говорит он. – Кончилась сказка, не начавшись. Ты же сказок не любишь. А мне бы сейчас невидимкой стать...

– Всех бы стражей обманул, сел бы в поезд да к себе в город поехал, – усмехается Алена.

– Нет! Дальше. На фронт, фашистов бить. И в тыл к ним. Невидимкой – чем плохо?

– Ты же говоришь – война кончилась.

– Это я еще узнаю. Прощай! Эмтэгей – к перемене жизни, так говорил твой Старик? И-эх! – катит вперед, слышит окрик Алены, останавливается.

– Дурак ты. Пропадешь. На солнце идти надо.

– Как на солнце?

– Он мне говорил, только чтобы не знал никто. Если мне с ним опротивит... Как солнышко в полдень выходит – прямо на него. Оно спускаться будет, ты все на него, и к закату на дорогу выйдешь. Да иди же, будь ты проклят!

– Алена, я приду за тобой... когда меня освободят.

– И не подумывай. Иди!..

Николай ХУДОКЕКОВ.



Коллаж Ирины ЖУРАВЛЕВОЙ.